

# 10. Перепись, карта, музей

В первом издании «Воображаемых сообществ» я писал, что «в политике „строительства нации“, проводимой новыми государствами, очень часто можно увидеть как подлинный, массовый националистический энтузиазм, так и систематичное, даже по-макиавеллиански циничное впрыскивание националистической идеологии через средства массовой информации, систему образования, административные предписания и т. д.»[388]. Тогда я недальновидно полагал, что в колонизированных мирах Азии и Африки официальный национализм напрямую копировался с образца династических государств Европы XIX в. Последующие размышления убедили меня, что эта точка зрения была опрометчивой и поверхностной и что непосредственную генеалогию национализма необходимо искать в способах воображения, присущих колониальному государству. На первый взгляд, этот вывод может показаться неожиданным, поскольку колониальные государства, как правило, были антинационалистическими и часто даже воинственно отстаивали эту позицию. Однако если скинуть внешний покров колониальных идеологий и колониальной политики и взглянуть на грамматику, в соответствии с которой они с середины XIX в. разворачивались, то искомое родство решительно проясняется.

Мало что демонстрирует так зримо и рельефно эту грамматику, как три института власти, которые, хотя и были изобретены еще до середины XIX в., изменили, по мере вступления колонизированных зон в эпоху механического воспроизводства, свою форму и функцию. Этими институтами были перепись населения, карта и музей: все три глубоко повлияли на то, как колониальное государство созерцало в воображении свой доминион — природу людей, которыми оно правил, географию своих владений и легитимность своего происхождения. Анализируя в этой главе характер этой связи, я ограничу свое внимание Юго-Восточной Азией, поскольку полученные мною выводы предварительны, а мои претензии на серьезные специальные познания ограничиваются только этим регионом. Вместе с тем, исследователи, испытывающие интерес к сравнительно-историческим изысканиям, найдут в Юго-Восточной Азии особые преимущества, ибо она включает территории, колонизированные почти всеми «белыми» имперскими державами — Британией, Францией, Испанией, Португалией, Нидерландами и Соединенными Штатами, — а также неколонизированный Сиам. Читатели, знающие другие районы Азии и Африки лучше меня, смогут судить, выдерживает ли мой аргумент проверку на более широкой исторической и географической сцене.

## Перепись

В двух недавно опубликованных полезных статьях социолог Чарлз Хиршман приступил к исследованию *mentalités* британских колониальных чиновников, переписывавших население во владениях Стрейтс-Сетлментс и в полуостровной Малайе, а также их преемников, занимавшихся тем же самым в независимом составном государстве Малайзия[389].

Факсимильные образцы «категорий идентичности», собранные Хиршманом из переписей, поочередно проводившихся с конца XIX в. вплоть до недавнего времени, показывают необыкновенно быстрый и с виду произвольный ряд изменений, в котором эти категории постоянно соединяются воедино, распадаются на части, заново комбинируются, смешиваются друг с другом и перегруппируются (притом, что политически влиятельные категории идентичности непременно оказываются во главе списка). Из этих переписей он делает два основных вывода. Во-первых, пока продолжался колониальный период, категории переписей становились все более наглядно и исключаяще расовыми[390]. Религиозная идентичность, в свою очередь, постепенно утрачивала роль первоочередной учетной классификации. Категория «индусы» после первой переписи 1871 г., в которой она фигурировала в одном ряду с «клингами» и «бенгальцами», исчезла. Категория «парсы» до переписи 1901 г., где она впервые появилась — сведенная воедино с «бенгальцами», «бирманцами» и «тамилами», — подводилась под более широкую категорию «тамылы и другие туземцы Индии». Второй вывод Хиршмана состоит в том, что в целом после обретения независимости крупные расовые категории сохранились и даже обогатились, однако теперь были по-новому определены и классифицированы как «малайзийцы», «китайцы», «индийцы» и «другие». Тем не менее, аномалии продолжали возникать вплоть до 80-х годов нашего века. В переписи 1980 г. «сикхи» в очередной раз нервно обнаружили себя как псевдоэтническую подкатегорию — рядом с «малайяли» и «телугу», «пакистанцами» и «бангладешцами», «шриланкийскими тамилами» и «иными шриланкийцами» — под общей рубрикой «индийцы».

Между тем, замечательные факсимильные образцы Хиршмана зовут нас пойти дальше и выйти за рамки его ближайших аналитических интересов. Возьмем для примера перепись населения Федерации малайских штатов 1911 г., где под рубрикой «малайское население (по расе)» приводится следующий список: «малайцы», «яванцы», «сакай», «банджары», «бойянцы», «мандайлинг» (sic), «кринчи» (sic), «джамби», «ачинцы», «буги» и «другие». Из этих «групп» все кроме (большинства) «малайцев» и «сакай» происходят с островов Суматра, Ява, Южный Борнео и Сулавеси, входивших в состав гигантской соседней колонии — Нидерландской Ост-Индии. Однако это внешнее по отношению к Федерации малайских штатов происхождение не получает признания у составителей переписи, которые, конструируя своих «малайцев», настойчиво уперлись глазами в границы собственной колонии. (Не нужно и говорить, что по ту сторону моря голландские изготовители переписей конструировали другой воображаемый образ «малайцев» — образ незначительной этнической группы, стоящей в одном ряду с «ачинцами», «яванцами» и т. д. и ничем из них не выделяющейся.) «Джамби» и «кринчи» обозначают скорее места, чем что-то, хотя бы отдаленно определяемое как этноязыковое. Совершенно невероятно, чтобы в 1911 г. хотя бы малая часть тех, кого поместили в эти категории и подкатегории, узнала саму себя под этими этикетками. Эти «идентичности», рожденные воображением (невнятно) классифицирующего ума колониального государства, еще только ожидали своей реификации, которая вскоре стала возможна благодаря имперскому административному проникновению. Кроме того, можно заметить страсть изготовителей переписи к завершенности и однозначности. Отсюда их нетерпимость к множественным, политически «трансвеститным», неясным и изменчивым идентификациям. Отсюда же и сопровождающая каждую расовую группу подкатегория «другие» — которых, однако, ни при каких обстоятельствах не следует путать с другими «другими». Замысел переписи состоит в том,

чтобы каждый в нее попал и имел в ней одно — и только одно — абсолютно ясное место. И никаких дробей.

Этот способ сотворения образов колониальным государством родился гораздо раньше, чем переписи 1870-х годов, а потому, чтобы в полной мере понять, почему переписи конца прошлого века были в основе своей все-таки новшеством, полезно заглянуть в прошлое, в первые дни европейского проникновения в Юго-Восточную Азию. В этом отношении поучительны два примера, взятые один с Филиппинского архипелага, а другой — с Индонезийского. В недавно опубликованной книге Уильям Генри Скотт попытался педантично реконструировать классовую структуру доиспанских Филиппин, взяв в качестве основы старейшие испанские документы[391]. Будучи профессиональным историком, Скотт прекрасно понимает, что Филиппины обязаны своим названием Филиппу II «Испанскому» и что с архипелагом — к счастью или несчастью для него — всякое могло случиться: он мог попасть в голландские или английские руки, мог рассыпаться на политические сегменты, мог быть заново собран воедино в ходе последующих завоеваний[392]. А потому есть соблазн объяснить этот курьезный выбор объекта тем обстоятельством, что Скотт долгое время жил на Филиппинах и проникся стойкой симпатией к филиппинскому национализму, который вот уже на протяжении целого столетия не оставляет в покое этот туземный Эдем. Однако вполне вероятно, что более глубокой основой формирования его воображения были те источники, на которые ему пришлось полагаться. Ибо все дело в том, что где бы на этих островах ни оказывались первые священники и конкистадоры, они, высаживаясь на берег, непременно обнаруживали там *principales*, *hidalgos*, *pecheros* и *esclavos* (принцев, дворян, простолюдинов и рабов) — квази-сословия, почерпнутые из социальных классификаций позднесредневековой Иберии. Документы, которые они после себя оставили, дают массу случайных свидетельств того, что на этом огромном, разбросанном и малонаселенном архипелаге «*hidalgos*» обычно знать не знали о существовании друг друга, а если даже и знали, то видели в лице друг друга вовсе не *hidalgos*, а врагов или потенциальных рабов. Однако власть системы координат настолько велика, что такие свидетельства отодвигаются в воображении Скотта в сторону, и ему становится трудно увидеть, что «классовая структура» доколониального периода есть «учетный» образ, созданный воображением простаков с испанских галеонов. Куда бы ни ступала их нога, повсюду им мерещились *hidalgos* и *esclavos*, которых только так, т. е. «структурно», могло собрать воедино рождающееся колониальное государство.

В отношении Индонезии мы, благодаря исследованию Мэйсона Хоудли, располагаем подробным описанием важного случая из судебной практики, имевшего место в прибрежном порту Черибон на острове Ява в конце XVII в.[393] К счастью, голландские (Ост-Индская компания) и местные черибонские документы сохранились до настоящего времени. Если бы сохранился только черибонский отчет, то мы бы узнали, что человек, обвиненный в убийстве, был высокопоставленным чиновником черибонского двора, носившим титул Ки Арья Марта Нинграт (личное имя неизвестно). Однако документы ОИК гневно идентифицируют его как *Chinees* [китайца] — и это, по сути, единственная чрезвычайно важная информация о нем, которую они сообщают. Отсюда видно, что если черибонский двор классифицировал людей по рангу и статусу, то компания использовала в качестве критерия что-то вроде «расы». Нет никаких оснований считать, что человек, обвиненный в убийстве — чей высокий статус говорит о давней интеграции его и его предков в

черибонское общество, вне зависимости от их этнического происхождения, — вообще мыслил себя «китайцем». Но как в таком случае пришла к этой классификации ОИК? Откуда могло возникнуть в воображении такое определение: *Chinees*? Разумеется, его источником могли стать только те невыносимые торгаши, чьи корабли беспрестанно курсировали под централизованным руководством из порта в порт на просторах от Мергуйского залива до устья реки Янцзыцзян. Как конкистадорам всюду мерещились бесконечные ряды *hidalgos*, так и компания, начисто забыв о разнородности населений Срединного государства, о том, что им зачастую непонятны многочисленные разговоры друг друга и об особом социальном и географическом происхождении их диаспоры в прибрежной полосе Юго-Восточной Азии, вообразила своим трансокеанским взором бесконечные ряды *Chinezen* [китайцев]. И на основе этой изобретательной категории учета она стала настойчиво требовать, чтобы те подотчетные ей люди, которых она категоризировала как *Chinezen*, одевались, жили, женились, хоронили и завещали свою собственность согласно этой учетной категории. Поразительно, что гораздо менее склонные к дальним путешествиям и не столь погрязшие в торговле иберийцы вообразили на Филиппинах совершенно иную учетную категорию: ту, которую они называли *sangleu*. Слово *sangleu* было вошедшим в испанский язык хоккиенским словом сенгли, означавшим «торговец»[394]. Можно представить, как испанские протопереписчики спрашивали торговцев, которых галеонная торговля занесла в Манилу: «Кто вы такие?», — на что те уверенно отвечали: «Мы торговцы»[395]. Не бороздя вдоль и поперек семь азиатских морей, иберийцы на протяжении двух столетий оставались в уютно провинциальной концептуальной мгле. *Sangleu* превращался в «китайца» очень медленно, пока в начале XIX в. это слово наконец не исчезло, уступив место стилизованному в духе Ост-Индской компании слову *chino*.

Реальным нововведением производителей переписей 1870-х годов было, следовательно, не конструирование этно-расовых классификаций, а скорее их систематическая квантификация. Доколониальные правители малайско-яванского мира пытались иногда сосчитать подконтрольное им население, но эти попытки принимали форму налоговых ведомостей и списков военнообязанных. Перед ними стояли вполне конкретные и специфические цели: отследить, кого можно реально обложить налогами и воинской повинностью, — ибо единственным, что интересовало этих правителей, были экономические прибыли и число мужчин, которых можно было поставить под ружье. Ранние европейские режимы в этом регионе мало чем отличались в этом отношении от своих предшественников. Однако после 1850 г. колониальные власти начали применять более изощренные административные средства учета населения, в том числе женщин и детей (которых древние режимы неизменно игнорировали), используя сложную категориальную сетку, не имевшую прямых финансовых или военных целей. В прежние времена подданные, подлежавшие обложению налогами и обязательному прохождению военной службы, обычно хорошо сознавали свою исчислимость; правитель и подданные прекрасно понимали друг друга в этом вопросе, пусть даже с непримиримых точек зрения. Однако до 1870 г. не облагаемая налогами и не подлежавшая призыву на военную службу «кохинхинская» женщина могла счастливо или несчастливо прожить всю свою жизнь в британских владениях на Малакке, так и не осознав, что все в ее жизни происходит так, как спланировано наверху. И здесь предстает со всей очевидностью специфичность новой переписи. Она пыталась тщательно пересчитать объекты своего воспаленного воображения. Учитывая исключаящий характер системы классификации и самой логики

квантификации, «кохинхинец» должен был быть понят как единица из собранных в один ряд таких же как он, «кохинхинцев» — разумеется, в территориальных пределах государства. По мере роста колониального государства и умножения числа его функций эта новая демографическая топография все глубже социально и институционально укоренялась. Руководствуясь собственной воображаемой картой, государство организовывало новые образовательные, юридические, здравоохранительные, полицейские и иммиграционные бюрократии, и все они строились по принципу этно-расовых иерархий, которые, между тем, всегда понимались в терминах параллельных серийных рядов. Прохождение подчиненного населения через сеть дифференцирующих школ, судов, клиник, полицейских участков и иммиграционных служб создавало те «привычки перемещения», которые со временем дали прежним фантазиям государства реальную социальную жизнь.

Вряд ли стоит и говорить, что этот путь не всегда представлял собой свободное плавание, и государству часто приходилось сталкиваться с реалиями, доставлявшими ему неудобства. Важнейшей среди них была, несомненно, религиозная принадлежность, служившая основой очень старых и стабильных воображаемых сообществ, совершенно несовместимых с авторитарной картой разметкой светского государства. В разных колониях Юго-Восточной Азии правителям в различной степени приходилось идти на неприятные уступки, особенно исламу и буддизму. В частности, продолжали процветать религиозные храмы, школы и суды, доступ в которые определялся не учетными категориями переписи, а массовым индивидуальным самоопределением. Государство редко могло сделать что-то большее, кроме как попытаться регламентировать эти институты, ограничить их, поставить на учет, стандартизировать и иерархически подчинить своим собственным[396]. Именно в силу своей топографической аномальности храмы, мечети, школы и суды стали восприниматься как зоны свободы, а со временем — как твердыни, из которых могли выйти на борьбу религиозные, а позднее — националистические антиколониалисты. В то же время нередко предпринимались попытки силой добиться лучшего совмещения переписи с религиозными сообществами путем максимально возможного политического и юридического переопределения последних как этнических. В колониальной Федерации малайских штатов сделать это было относительно легко. Те, кого режим считал принадлежащими к разряду «малайцев», были вытеснены во дворы «своих» безвластных султанов, где управление было в значительной степени подчинено исламскому праву[397]. «Исламское», таким образом, было истолковано как просто еще одно название «малайского». (После того, как в 1957 г. страна провозгласила свою независимость, некоторые политические группы попытались перевернуть эту логику, истолковав «малайское» как просто еще одно название «исламского».) В огромной и разнородной Нидерландской Индии, где к концу колониальной эпохи бесчисленные конкурирующие миссионерские организации осуществили в территориально широко разбросанных зонах массовое обращение в свою веру, аналогичные попытки столкнулись с серьезными препятствиями. Тем не менее, даже здесь в 20-е и 30-е годы началось становление «этнических» христианств (батакской церкви, церкви каро, позднее даякской Церкви и т. д.), которые получили развитие отчасти благодаря тому, что государство, руководствуясь своей учетной топографией, распределило зоны религиозного обращения между разными миссионерскими группами. С исламом Батавия не достигла подобного успеха. Она не осмелилась запретить паломничества в Мекку, хотя попыталась притормозить рост числа паломников, держала под контролем их путешествия и шпионила

за ними с аванпоста в Джидде, созданного как раз для этой цели. Ни одной из этих мер не было достаточно для того, чтобы помешать интенсификации контактов мусульман Ост-Индии с широким внешним исламским миром, и особенно для того, чтобы поставить заслон на пути новых интеллектуальных влияний, идущих из Каира[398].

## Карта

Тем временем Каир и Мекка постепенно начинали представлять взору по-новому, необычно. Теперь это были не просто места сакральной мусульманской географии, но и точки на листах бумаги, где наряду с ними присутствовали другие точки, обозначавшие Париж, Москву, Манилу и Каракас; а связь на плоскости между этими точками — неважно, профанными или сакральными — не определялась более ничем, что выходило бы за рамки математически рассчитанного времени полета птицы. Карта Меркатора, завезенная европейскими колонизаторами, постепенно начинала — через печать — структурировать воображение жителей Юго-Восточной Азии.

В своей недавно защищенной блестящей докторской диссертации тайский историк Тхонгчай Виничакул проследил сложные процессы, в ходе которых в период с 1850 по 1910 гг. сформировался обведенный границей «Сиам»[399]. Его обзор поучителен именно потому, что хотя Сиам и не был колонизирован, линии, ставшие в конечном счете его границами, были определены колониализмом. Следовательно, в тайском случае можно необыкновенно ясно увидеть появление нового государственного мышления в рамках «традиционной» структуры политической власти.

До восшествия на престол в 1851 г. интеллигентного Рамы IV (Монкута из книги «Король и я») в Сиаме существовали две разновидности карты, и обе изготавливались вручную: эпоха механического воспроизводства в стране еще не наступила. Первой разновидностью было то, что можно было бы назвать «космографией»: строгое по форме символическое представление «трех миров» традиционной буддийской космологии. Космография была организована не горизонтально, как наши карты; скорее, несколько надземных небесных сводов и подземных адов вклинивались в видимый мир вдоль единой вертикальной оси. Она была бесполезна для любых путешествий, кроме поисков заслуг и спасения. Карты второго типа, целиком посюсторонние, содержали в себе схематичные ориентиры для военных кампаний и прибрежного мореплавания. Хотя они разбивались на квадранты, все-таки главными их элементами были вписанные от руки примечания, касавшиеся продолжительности сухопутного и морского пути; они были необходимы ввиду того, что у картографов не было представления о масштабе. Охватывая исключительно земное, профанное пространство, их обычно рисовали в причудливо смещенной перспективе или в смеси нескольких перспектив, словно на глаза художников, привыкшие в повседневной жизни видеть ландшафт горизонтально, т. е. на уровне обычного взгляда, все-таки исподволь повлияла вертикальность космографии. Тхонгчай указывает, что эти путеводные карты, имевшие неизменно локальный характер, никогда не соотносились с более широким, стабильным географическим контекстом и что условность взгляда с высоты птичьего полета, принятая в современных картах, была им совершенно чужда.

На обеих разновидностях карт границы не помечались. Их создатели сочли бы непонятной следующую изящную формулировку Ричарда Мейра:

“ «Находясь на стыках смежных государственных территорий, межнациональные границы имеют особую значимость в определении пределов правомочности суверенной власти, а также пространственной формы заключенных в эти пределы политических регионов... Границы... появляются там, где вертикальные соприкосновения разных государственных суверенитетов рассекают на части земную поверхность... Являясь размежеваниями вертикальными, границы не имеют горизонтальной ширины...»[400]

В Сиаме пограничные камни и иные подобные маркеры существовали вдоль западных окраин государства и даже численно множились по мере того, как британцы пытались продвинуться вглубь его территории из Нижней Бирмы. Но эти камни устанавливались не везде, а только около стратегически важных горных перевалов и фордов, и часто были отделены значительными расстояниями от соответствующих камней, установленных противником. Их понимали горизонтально, на уровне глаз, как точки протяженности королевской власти, а не как что-то «возникшее из воздуха». Лишь в 70-е годы прошлого века тайские лидеры начали воспринимать границы как сегменты непрерывной линии на карте, не соответствующей ничему видимому на земле, но устанавливающей границы исключительного суверенитета, втиснувшегося между другими суверенитетами. В 1874 г. вышел в свет первый учебник географии, сочиненный американским миссионером Й. В. Ван Дейком, — один из первых продуктов печатного капитализма, начавшего к тому времени проникать и в Сиа́м. В 1882 г. Рама V учредил специальную картографическую школу в Бангкоке. В 1892 г. министр образования принц Дамронг Ратчанубаб, внедривший в стране систему образования современного стиля, сделал географию обязательным предметом преподавания в младших классах средней школы. В 1900 г. или около того была опубликована книга Phumisat Sayam [География Си́ама] У. Г. Джонсона, ставшая с тех пор образцом для всех печатных географий страны[401]. Тхонгчай отмечает, что векторное совпадение печатного капитализма с новой концепцией пространственной реальности, представляемой новыми картами, немедленно сказалось на языке тайской политики. За период с 1900 по 1915 гг. традиционные слова *krung* и *muang* почти вышли из употребления, поскольку представляли образ государства в терминах священных столиц и зримых, несвязных населенных центров[402]. Их место заняло слово *prathet*, «страна», представившее его в незримых категориях территориально замкнутого пространства[403].

Как и переписи, карты европейского стиля базировались на тотализирующей классификации и подталкивали их бюрократических производителей и потребителей к проведению политики, имевшей революционные последствия. С тех пор, как в 1761 г. Джон Харрисон изобрел хронометр, давший возможность точно рассчитывать долготу, вся искривленная поверхность планеты была упрята́на в геометрическую координатную сетку, расчертившую неведомые моря и неосвоенные регионы на измеримые квадратные ячейки[404]. Задача, так сказать, «заполнения» этих ячеек ложилась на путешественников,

топографов и вооруженные силы. В Юго-Восточной Азии вторая половина XIX в. была золотым веком военных топографов: сначала колониальных, а чуть позже тайских. Они победоносно подчиняли пространство такому же учету, какому производители переписей пытались подчинить людей. Триангуляция за триангуляцией, война за войной, договор за договором — так протекало соединение карты и власти. Тут будет уместно привести слова Тхонгчая:

“С точки зрения большинства теорий коммуникации и здравого смысла, карта есть научная абстракция реальности. Карта лишь репрезентирует нечто, уже объективно „вот здесь“ существующее. В истории, описанной мною, эта связь встала с ног на голову. Именно карта предвосхитила пространственную реальность, а не наоборот. Иными словами, карта была не моделью той реальности, которую она намеревалась представить, а образцом для сотворения самой этой реальности... Она стала настоящим инструментом конкретизации проекций на земную поверхность. Теперь карта была необходима новым административным механизмам и войскам для подкрепления их притязаний... Дискурс картографирования был той парадигмой, в рамках которой осуществлялись административные и военные действия и которую эти действия фактически обслуживали»[405].

К концу столетия, с осуществлением реформ принца Дамронга в министерстве внутренних территорий (замечательное название, с точки зрения картографии!), административное управление королевством было наконец целиком поставлено по примеру соседних колоний на территориально-картографическую основу.

Было бы недальновидно обойти вниманием решающую точку пересечения карты и переписи. Новая карта надежно выполняла задачу разграничения бесконечных рядов «хакка», «нетамильских шриланкийцев» и «яванцев», вымышленных формальным аппаратом переписи, устанавливая территориальные пределы этих рядов там, где, с политической точки зрения, они заканчивались. В свою очередь, перепись посредством своего рода «демографической триангуляции» наполняла формальную топографию карты политическим содержанием.

В ходе этих изменений сформировались две конечные аватары карты (обе были институционализированы позднеколониальным государством), которые являются прямым прообразом официальных национализмов Юго-Восточной Азии XX в. Полностью сознавая свою чужеродность в далеких тропиках, но попадая туда из цивилизации, где уже давно были узаконены наследование географического пространства и передача его от одного хозяина к другому[406], европейцы часто пытались легитимировать распространение своей власти квази-законными методами. В число самых популярных среди них входило «наследование» мнимых суверенных прав туземных правителей, которых европейцы уничтожали или подчиняли своей власти. В любом случае узурпаторы, особенно оказываясь *vis-a-vis* с другими европейцами, вовлекались в реконструкцию истории собственности своих новых владений. Отсюда появление, особенно под конец XIX в., «исторических карт»,



призванных демонстрировать в новом картографическом дискурсе древность особых, плотно упакованных территориальных единиц. Через хронологически упорядоченные последовательности таких карт выстраивался своего рода политико-биографический нарратив династического государства, иногда обладающий бездонной исторической глубиной[407]. В свою очередь, этот нарратив заимствовали, пусть часто и в адаптированном виде, национальные государства, ставшие в XX в. правопреемниками колониальных государств[408].

Второй аватарой была карта-как-логотип. Источник у нее был вполне невинный: привычка имперских государств окрашивать свои колонии на карте в имперский цвет. На имперских картах Лондона для британских колоний обычно использовались розовый и красный цвета, для французских — фиолетовый и синий, для голландских — желтый и коричневый и т. д. Окрашенная таким образом, каждая колония представляла как отдельный кусочек составной картинки-загадки. Когда эффект «картинки-загадки» вошел в норму, каждый такой «кусочек» мог быть полностью отделен от своего географического контекста. В конечной его форме могли быть скопом удалены все объяснительные глоссы: линии долготы и широты, названия мест, условные знаки, обозначающие реки, моря и горы, и, наконец, соседи. Чистый знак, уже не путеводитель по миру. В этой своей форме карта вошла в бесконечно воспроизводимые серии, став пригодной для переноса на плакаты, официальные печати, фирменные бланки, обложки журналов и учебников, скатерти и стены отелей. Мгновенно узнаваемый и повсюду замечаемый, логотип карты глубоко внедрялся в массовое воображение, формируя выразительный символ для зарождающихся антиколониальных национализмов[409].

Современная Индонезия дает нам яркий и болезненный пример этого процесса. В 1828 г. на остров Новая Гвинея высадилась первая партия одержимых лихорадочной активностью голландских поселенцев. Хотя в 1836 г. им пришлось покинуть основанное ими поселение, голландская корона объявила суверенитет над частью острова, лежавшей к западу от 141-й долготы (невидимой линии, которая не соответствовала ничему на земной поверхности, но втискивала в ячейки все более сокращающиеся неокрашенные Конрадовы пространства), за исключением некоторых прибрежных территорий, над которыми признавался суверенитет султана Тидоре. Лишь в 1901 г. Гаага выкупила у султана Западную Новую Гвинею и включила ее в Нидерландскую Индию — как раз вовремя для логотипизации. Большие части этого региона оставались незакрашенными до окончания второй мировой войны; горстку голландцев, которые там жили, составляли в основном миссионеры, разведчики недр и надзиратели специальных тюремных лагерей для непокорных радикальных индонезийских националистов. Болота к северу от Мерауке, что на юго-восточной оконечности голландской Новой Гвинеи, были выбраны в качестве местоположения этих учреждений именно потому, что этот район был наиболее удален от остальной колонии, а местное население «каменного века» было абсолютно не запятнано националистическим мышлением[410].

Интернирование, а часто и погребение здесь мучеников-националистов позволили Западной Новой Гвинее занять центральное место в фольклоре антиколониальной борьбы и сделали ее священным местом в национальном воображении: Свободу Индонезии от Сабанга (на северо-западной оконечности Суматры) до — чего бы вы думали? — ну, конечно же, — Мерауке! И не имело никакого значения, что никто из националистов, за исключением

нескольких сотен интернированных, до шестидесятих годов ни разу в жизни не видел Новую Гвинею собственными глазами. Между тем, голландские колониальные карты-логотипы, быстро разлетаясь по всей колонии и показывая Западную Новую Гвинею так, как будто к востоку от нее ничего не было, безотчетно все больше укрепляли воображенные узы. Когда отгремели ожесточенные антиколониальные войны 1945–1949 гг. и голландцы были вынуждены передать суверенитет над архипелагом Соединенным Штатам Индонезии, они попытались (по причинам, которые не должны нас здесь отвлекать) отделить Западную Новую Гвинею еще раз, временно удержать ее под своим колониальным управлением и подготовить к принятию независимой национальной государственности. Эти попытки прекратились лишь в 1963 г., вследствие мощного дипломатического давления американцев и индонезийских военных операций. Только тогда президент Сукарно в возрасте 62 лет впервые посетил регион, о котором неустанно ораторствовал на протяжении четырех десятилетий. Последующие неровные отношения между населением Западной Новой Гвинеи и эмиссарами независимого индонезийского государства можно отнести на счет того, что индонезийцы более или менее искренне считают это население «братьями и сестрами», тогда как само это население по большей части придерживается совершенно иного взгляда на вещи[411].

Это различие многим обязано переписи и карте. Глухое местоположение Новой Гвинеи и труднопроходимость местности создали здесь за много тысяч лет необычайную языковую фрагментацию. Когда в 1963 г. голландцы уходили из этого региона, у здешнего населения, составлявшего 700 тыс. человек, существовало, по их приблизительным оценкам, более 200 по большей части взаимно непонятных языков[412]. Многие «племенные» группы, проживавшие в самых глухих районах, даже не знали о существовании друг друга. Между тем, голландские миссионеры и чиновники, особенно после 1950 г., впервые всерьез попытались «объединить» их посредством проведения переписей населения, расширения коммуникационных сетей, создания школ и возведения «надплеменных» правительственных структур. И эта попытка была предпринята колониальным государством, которое, как мы уже заметили, было уникальным в том отношении, что управляло индийскими территориями, используя главным образом не европейский язык, а «административный малайский»[413]. А следовательно, Западная Новая Гвинея была «воспитана» в том же языке, в котором ранее была выпестована Индонезия (и который естественным образом стал ее национальным языком). Ирония в том, что bahasa Indonesia стал, тем самым, «лингва франка» развивающегося западно-новогвинейского, западно-папуасского национализма[414].

Однако именно карта собрала воедино часто ссорившихся друг с другом молодых западно-папуасских националистов, особенно после 1963 г. Хотя индонезийское государство и изменило название этого региона, превратив West Nieuw Guinea сначала в Irian Barat (Западный Ириан), а затем в Irian Jaya, оно прочитало его локальную реальность в атласе колониальной эпохи, отражавшем взгляд с высоты птичьего полета. Небольшая горстка антропологов, миссионеров и местных чиновников еще могла знать и мыслить о ндани, асматах и бауди. Но государство, а через него и индонезийское население в целом видели только фантомных «ирианцев» (orang Irian), именуемых в соответствии с картой. А поскольку это был фантом, то и представляться он должен был в квази-логотипной форме: «негроидные» черты, пенисы в чехлах и т. п. Примерно так же, как в начале XX в. в рамках

расистских структур Нидерландской Ост-Индии впервые была вообразена Индонезия, зародилось «ирианское» национальное сообщество, ограниченное 141-м меридианом и соседними провинциями Северных и Южных Молуккских островов. Когда в 1984 г. по приказу государства был злодейски убит его наиболее выдающийся и привлекательный представитель Арнольд Ап, он работал хранителем государственного музея, посвященного «ирианской» (провинциальной) культуре.

## Музей

Связь между занятием Апа и его убийством вовсе не случайна. Ведь музеи и музейное воображение в глубине своей политичны. То, что его музей был основан далекой Джакартой, показывает нам, что новое национальное государство, Индонезия, училось у своей непосредственной предшественницы — колониальной Нидерландской Ост-Индии. За нынешним ростом числа музеев по всей Юго-Восточной Азии угадывается некоторый общий процесс политического наследования. И чтобы понять этот процесс, нам необходимо рассмотреть новую колониальную археологию XIX в., сделавшую такие музеи возможными.

До начала XIX в. колониальные правители в Юго-Восточной Азии проявляли мало интереса к древним памятникам цивилизаций, которые они себе подчинили. Томас Стэмфорд Раффлз, грозный эmissар из Калькутты времен Уильяма Джонса, был первым видным колониальным чиновником, который не только собрал огромную личную коллекцию местных *objets d'art*[415], но и стал систематически изучать их историю[416]. С этих пор величественные красоты Боробудура, Ангкора, Пагана и иных древних достопримечательностей стали все чаще извлекать на свет, очищать от диких зарослей, измерять, фотографировать, реконструировать, огораживать, анализировать и выставлять напоказ[417]. Колониальные археологические службы стали влиятельными и престижными институтами; на работу в них привлекали исключительно талантливых ученых-чиновников[418].

Доскональное исследование того, почему и когда это произошло, увело бы нас слишком далеко от нашей темы. Здесь, вероятно, достаточно будет предположить, что это изменение было как-то связано с упадком торгово-колониальных режимов двух великих Ост-Индских компаний и становлением подлинно современной колонии, напрямую присоединенной к метрополии[419]. Соответственно, престиж колониального государства был теперь тесно связан с престижем его заморского господина. Достоинно внимания, сколь интенсивно сосредоточились археологические усилия на восстановлении впечатляющих памятников (и как эти памятники стали наноситься на карты, предназначенные для массового тиражирования и наставления: это была своего рода некрологическая перепись). В этом акценте, несомненно, нашла отражение и всеобщая мода на все восточное. Однако огромные средства, вкладываемые в это дело, позволяют заподозрить, что у государства были на то свои собственные причины, не имевшие отношения к науке. На ум приходят целых три таких причины, из которых последняя, безусловно, самая важная.

Во-первых, археологический бум совпал по времени с началом политической борьбы вокруг стратегии государства в сфере образования[420]. «Поборники прогресса» — как колонисты, так и коренные жители — требовали крупных вложений в современное школьное

образование. Против них выступили стройными рядами консерваторы, которые боялись долгосрочных последствий такого образования и предпочитали, чтобы аборигены оставались аборигенами. В этом свете, археологические реставрации, за которыми вскоре последовало поддерживаемое государством издание традиционных литературных текстов, можно рассматривать как своего рода консервативную образовательную программу, которая служила также и предлогом для сопротивления давлению со стороны прогрессистов. Во-вторых, официальная идеологическая программа реконструкций всегда выстраивала строителей памятников и колониальных туземцев в некоторого рода иерархию. В ряде случаев, как, например, до 30-х годов нашего века в Голландской Ост-Индии, муссировалась идея, что строители на самом деле не принадлежали к той «расе», к которой принадлежат местные жители (и что ими были «в действительности» выходцы из Индии)[421]. В других случаях, как, например, в Бирме, воображение рисовало образ векового упадка, из-за которого нынешнее коренное население уже неспособно к великим деяниям своих предполагаемых предков. Представленные в этом свете, реконструируемые памятники, противостоя окружающей сельской нищете, как будто говорили коренным жителям: само наше присутствие показывает, что вы всегда были (или давно уже стали) неспособными ни к величию, ни к самоуправлению.

Третья причина интересует нас больше, и она теснее связана с картой. Ранее, обсуждая «историческую карту», мы уже увидели, что колониальные режимы начали связывать себя в такой же мере с древностью, как и с завоеванием, руководствуясь первоначально беззастенчиво макиавеллианскими мотивами своей легализации. Однако со временем откровенно грубых речей о праве завоевывать становилось все меньше и меньше, и все больше усилий направлялось на создание альтернативных легитимностей. Множилось число европейцев, родившихся в Юго-Восточной Азии и склонных считать ее своей родиной. Монументальная археология, все больше связываясь с туризмом, позволяла государству предстать в роли защитника обобщенной, но в то же время местной Традиции. Старые священные места должны были быть инкорпорированы в карту колонии, а их древний престиж (который в случае его исчезновения, как часто и обстояло дело, государство было призвано возродить) на картографов. Эту парадоксальную ситуацию прекрасно иллюстрирует тот факт, что восстановленные памятники часто были окружены изящно выложенными газонами и тут и там неизменно были расставлены полные всевозможных дат пояснительные таблички. Более того, памятники эти следовало держать безлюдными; попасть в них могли только проезжие туристы (и, по мере возможности, там не должно было быть никаких религиозных церемоний или паломничеств). Превращенные таким образом в музеи, они вернулись к жизни в новом качестве — как регалии светского колониального государства.

Но, как было отмечено выше, характерной особенностью инструментов этого светского государства была бесконечная воспроизводимость, ставшая возможной в техническом плане благодаря печати и фотографии, а в политико-культурном плане — благодаря неверию самих правителей в реальную святость местных достопримечательностей. Повсюду можно вывести своего рода прогрессию: (1) Увесистые, технически изощренные археологические отчеты, набитые десятками фотографий, в которых фиксируется процесс воссоздания конкретных, особых руин; (2) Роскошные книги для массового потребления со множеством вклеенных иллюстраций, на которых изображаются все основные

достопримечательности, реконструированные в пределах колонии (тем лучше, если, как в Нидерландской Индии, имелась возможность сопоставить индуско-буддийские храмы с восстановленными исламскими мечетями)[422]. Благодаря печатному капитализму возникает своего рода художественная перепись государственного наследия, которую подданные государства могут купить, хотя и за немалые деньги; (3) Общая логотипизация, ставшая возможной благодаря описанным выше процессам профанирования. Примером этой стадии являются почтовые марки с характерными для них сериями, посвященными тропическим птицам, фруктам, фауне — а почему бы также и не памятникам? Той же логике подчинены почтовые открытки и школьные учебники. Отсюда всего один шаг до рынка: отеля «Паган», жареных цыплят по-боробудурски и т. д.

Хотя такой тип археологии, достигший зрелости в эпоху механического воспроизведения, был в основе своей политическим, он был политическим на столь глубоком уровне, что почти никто, включая персонал колониального государства (который к 30-м годам нашего века почти везде в Юго-Восточной Азии на 90 процентов был туземным), этого даже не осознал. Он превратился в нечто совершенно заурядное и повседневное. Но именно в бесконечной каждодневной воспроизводимости этих регалий проявляло себя реальное могущество государства.

Вероятно, нет ничего особенно удивительного в том, что обретшие независимость государства, многое позаимствовав у своих колониальных предшественников, унаследовали и эту форму политической музеизации. Например, 9 ноября 1968 г. в рамках торжеств, посвященных 15-й годовщине независимости Камбоджи, Народом Сианук выставил в национальном спортивном комплексе в Пномпене большую копию ангорского храма Байон из дерева и папье-маше[423]. Копия была исключительно грубой и неточной, но благодаря логотипизации, произошедшей в колониальную эпоху, послужила своей цели: мгновенной узнаваемости. «Ах, наш Байон!» — но уже без какого-либо упоминания о его французских колониальных реставраторах. Реконструированный французами Ангкор-Ват, опять-таки в форме «картинки-загадки», стал, как уже говорилось в главе 9, основным символом в череде сменявших друг друга флагов роялистского режима Сианука, милитаристского режима Лон Нола и якобинского режима Пол Пота.

Удивительнее выглядят свидетельства такого наследования на более массовом уровне. Ярким примером служит серия живописных полотен с изображением эпизодов национальной истории, заказанная в 50-е годы министерством образования Индонезии. Эти картины должны были быть запущены в массовое производство и разосланы по всем начальным школам; повсюду на стенах школьных классов юные индонезийцы должны были видеть визуальные репрезентации прошлого своей страны. Большинство задних планов было выполнено в предсказуемом сентиментально-натуралистическом стиле коммерческого искусства начала XX в., человеческие же фигуры были взяты либо с музейных диорам колониальной эпохи, либо из псевдоисторических представлений народного театра ваянг оранг. Наибольший интерес из всей серии представляла, однако, картина, предлагавшая детям репрезентацию Боробудура. Этот колоссальный памятник с его 504 образами Будды, 1460 сюжетными и 1212 декоративными каменными плитами есть поистине фантастическая сокровищница древней яванской скульптуры. Однако, досточтимый художник изображает это чудо в период его величия (IX в.) поучительно своевольно. Боробудур предстает

полностью выкрашенным в белый цвет; в нем нет и следа какой бы то ни было скульптуры. Он окружен ухоженными лужайками и тенистыми аллеями — и нигде ни единой души[424]. Кто-то, возможно, сказал бы, что эта пустынность отражает неловкость современного мусульманского художника перед лицом древней буддийской реальности. Однако я предполагаю, что на самом деле мы видим здесь прямое наследие колониальной археологии: Боробудур как государственную регалию и как логотип «ну, конечно же, это он». Боробудур, еще более могущественный в качестве знака национальной идентичности в силу осознания каждым человеком местоположения этого Боробудура в бесконечном ряду идентичных Боробудуров.

Таким образом, в переписи, карте и музее, тесно взаимно связанных друг с другом, ярко проявляется особый стиль представления позднеколониальным государством своих владений. «Основой» этого стиля была тотализирующая классификационная разметка, которую можно было с бесконечной гибкостью применять ко всему, что попадало под реальный или предполагаемый контроль государства: к народам, регионам, религиям, языкам, продуктам, памятникам и т. д. Следствием этой разметки была способность всегда про все что угодно сказать, что вот это, именно это, а не то, и что место этому именно здесь, а не там. Все было разграниченным, определенным и, следовательно, в принципе исчислимым. (В смешные классификационные и подклассификационные учетные ячейки, озаглавленные «другое», упрятывались с помощью восхитительной бюрократической *trompe l'oeil*[425] все аномалии, присутствующие в реальной жизни.) «Тканью» же, которая накладывалась на указанную «основу», было то, что можно назвать сериализацией: допущение, что мир состоит из воспроизводимых множественных чисел. Частное всегда выступало как временный представитель ряда, и обращаться с ним следовало соответственно. Поэтому колониальное государство вообразило китайский ряд раньше, чем китайца, а националистический ряд — еще до появления националистов.

Еще никто не нашел для этой структуры разума лучшую метафору, чем великий индонезийский романист Прамудья Ананта Тур, назвавший заключительный том своей тетралогии о колониальном периоде «Rumah Kasa» — «Стеклянный дом». Это не менее могущественный образ тотальной просматриваемости, чем «Паноптикум» Бентама. Ведь дело не просто в том, что колониальное государство стремилось создать под своим контролем идеально просматриваемый человеческий ландшафт; эта «просматриваемость» требовала, чтобы у каждого человека и каждой вещи был (так сказать) серийный номер[426]. Этот стиль воображения возник не из воздуха. Он был продуктом технологических достижений навигации, астрономии, часового дела, топографии, фотографии и печати, не говоря уж о глубокой движущей силе капитализма.

Итак, карта и перепись сформировали грамматику, которая должна была при надлежащих условиях сделать возможными «Бирму» и «бирманцев», «Индонезию» и «индонезийцев». Однако конкретные воплощения этих возможностей, которые и сегодня, спустя много лет после исчезновения колониального государства, живут полноценной жизнью, были очень многим обязаны тому, как представляло себе колониальное государство историю и власть. В доколониальной Юго-Восточной Азии археология была немыслимым занятием; в неколонизированном Сиаме она была воспринята с большим опозданием и с оглядкой на созданный колониальным государством образец. Археология создавала серийный ряд «древние памятники», разбиваемый на сегменты с помощью классификационных

географическо-демографических ячеек «Нидерландская Индия» и «Британская Бирма». Каждая руина, будучи воспринята в рамках этого профанного ряда, становилась доступной для обследования и бесконечного копирования. В то время как археологическая служба колониального государства создавала техническую возможность монтировать этот ряд в картографической и фотографической форме, само государство могло рассматривать эти серии, вплоть до исторических времен, как альбомы с изображениями своих предков. Данный конкретный Боробудур, или конкретный Паган никогда не представляли особого интереса для государства; с ними его связывала только археология. Воспроизводимые серийные ряды, однако, создавали ту историческую глубину поля, которую с легкостью унаследовали постколониальные правопреемники колониальных государств. Конечным логическим результатом был логотип (будь то «Пагана» или «Филиппин» — почти без разницы), который самой своей незаполненностью, бесконтекстностью, визуальной запоминаемостью и бесконечной воспроизводимостью в любом направлении соединил перепись и карту в едином нерасторжимом объятии.

---

Версия #1

Зверобой создал 12 апреля 2025 23:36:44

Зверобой обновил 12 апреля 2025 23:39:13